



Все стихи я делю на разрешённые
и написанные без разрешения.
Первые — это мразь, вторые —
ворованный воздух.

Мандельштам

18+

Это издание может содержать информацию, которую российское правосудие может счесть вредной для несовершеннолетних. Если вы доверяете российскому правосудию больше, чем нашему издательству, — не позволяйте несовершеннолетним знакомиться с этим изданием и сами воздержитесь от знакомства с ним.

В О З Д У Х

КНИГА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Ирина Машинская

ДЕЛАВЕР

2017



ББК 84.П7 – 5

М38

Ирина Машинская. Делавер: Книга стихов. – М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2017. – 120 с. – Книжный проект журнала «Воздух», вып.79.

Поэт. Родилась в 1958 г. в Москве. Окончила географический факультет МГУ, занималась палеоклиматологией; основала детскую литературную студию «Снегирь». Эмигрировала в США в 1991 году, живёт между штатами Нью-Джерси и Пенсильвания. С 1992 года публикует стихи и эссе в журналах «Знамя», «Новый Мир», «Воздух» и др. Автор восьми книг стихов. Главный редактор основанного с Олегом Вулфом литературного журнала «Стороны Света» (2005) и соредактор *Cardinal Points Journal*. Соучредитель конкурса переводов русской поэзии «Компас» (2011).

ISBN 978-5-86856-302-7

ББК 84.П7

Серийная обложка Ильи Баранова.

Подписано в печать 16.10.2017.

Гарнитура Футура. Формат 70х90/32. Тираж 300 экз.

Проект АРГО-РИСК ИД Книжное обозрение

117648 Москва, Сев. Чертаново, 8-833-218.

Типография «Буки веди»

115093 Москва, Партийный пер., д.1, корп. 58.

Делавер, река Атлантического бассейна Соединённых Штатов. Общая протяжённость (включая самый длинный приток) около 405 миль (650 км), площадь водосбора: 11 440 квадратных миль (29 630 кв. км). Река частично является границей между штатами Пенсильвания и Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания и на протяжении нескольких миль между штатами Делавер и Нью-Джерси. Делавер течёт, в основном, на юг.

Энциклопедия Британника

I. На перевал

После снегопада. Отец

Так громыхают снегоочистители,
сползая с перевала,
встают опять вокруг встают родители,
их снова мало.

В тени горы кадык скалы блистающий —
отец, осколок.
Как пред рождением искрится март нетающий!
Откинут полог —

остр водопад, замёрзший вмиг, как был,
подобьем ярок
колонн, лучащихся капелл —
пинаклей, арок.

Подъём, шлея шоссе из тени снова в тень
жмётся от края
к корням скалы, в её родную сень —
мутнея, сверкая.

Ещё чуть-чуть побыть в слепой отро́ческой
тени пред дверью,
нащупывая код отеческий
в предмирной мути, Брайля.

Но вспыхнет, не отринув родовое,
первопроходцем
стекло огромное в долину лобовое,
продавленное солнцем.

В открывшейся долине человеческой
за влажным перевалом,

лежит земля, туман судьбы отеческой
в лучом пронзённом её теле талом.

Сверкают спуски лыжные, облитые вдали
яблочным воском,
туман надышанной до нас земли,
её Брейгелем, Босхом.

В солнечну грязь, искрясь, грузовики
сползают с перевала,
и машут мельницы разлуки резаки —
любить сначала.

† † †

Когда человек умирает, начинается новая с ним жизнь
Когда умирает родитель, начинается новая с ним жизнь
По корявому краю отваливается
ломоть крошится на тысячи речи
Тяжёлая правда становится шуткой неправдой
а слабость его суеверья — как первая ласка

Отвернувшийся

Ноябрьское лицо
смотрит себе в лицо
сотри — и стекает снова

Стреляный воробей
себя узнаёт постольку
Не узнаёт вернувшись
в палату
свою постель

Себя узнаёт лишь только
отвернувшийся от себя

Как он смотрел
сквозь нас
в него шумящий лес
на вывернутую листву
где спрятан последний лист

Двое

Похоронили матерей,
на мартовском ветру стояли.
И смысл, и волю потеряли
и сделали себя старей.
Осталась я у них одна
на всём жестокосердном свете.
И ни оврага, ни холма —
лишь ровный голос на кассете
с небес не толще полотна.

Четыре нежные руки
меня отрывисто касались.
Ключицы скрипнули, раскрылись,
и сердце треснуло, как наст.
Пока неслась дневная мгла,
пока мело по снежной мели —
я б их оставить не могла.
Я им была как мать, не мене, —
но, Господи, как я мала.

Греми же, мартовская жечь,
жестоковыйные морозы!
Больней любовь на свете есть
горящей на щеке угрозы —
слепая ласковая лещь.
Разлука выпорхнет — и во
все концы! — не оттого ли,
что смысла нет в добытой воле?
Но и в неволе нет его.

Деревья

С.

(И потом)

И потом научаешься обходиться без человека
без словечек его
без примочек привычек
пепла пепельниц фляжек — даров
простодушных знакомых
кумекавших что подарить
без метелей
лотерейных билетов
повсюду — в машине и там под сиденьем
и в комнате
страшной комнате после
бутылей и фляг и жестяных кружков от дешёвого пива

То есть вдруг забываешь как он злился
как тяжело ревновал
как собой заслонял зазеркалье
как обидно не верил
не давал порулить
не пускал —
и потом не встречал
в наказанье

Он становится только тем
враз оставленным
остающимся
отстающим
и слабым
нелепым родным

с некрасивым широким запястьем
чистым запахом

милым

тенором — тем с которого всё началось
что остался в кассете

Научаешься ждать чтоб вернулось —
светлой ночью в недопостроенном доме
привычка молчанья
шёлк плеча
все смешные клише
что родны и нелепы как верность
весь он
с корявой армейской наколкой
как тополь на улице детства

(Пустое утро)

Ты снился мне
смотрел и улыбался
И как при жизни было непонятно
о чём нам говорить
и потому наверно
чтоб не молчать
ибо молчание привязывает больше —

тебе о чём-то из того что любишь
и разводила: «дерево — такоооо! — вон до того
— руками — этажа!»
как тот этаж когда ты подшофе (в Москве?)
забрался босиком и перелез
вот на такой же — наш — балкон хрущёбы

обитый грязно-жёлтым пластиком
на пятом
(как выяснилось худшем при обмене)

и тут я вспомнила — ты умер умер
вот-вот исчезнешь
но разовспомнить
уже не получалось
и воску снова стало горячо

пустое утро

(Как быстро)

Как быстро смерть привязывает к
тому кто нам казалось
был не нужен
Ложись и слушай
тракт —
приморский мусор и нагроможденье веток

асфальт — под ним
гранит — под ним
базальт
не щит — мембрана

и сердце слышит сердце дорогое
такт и такт

Так тихо жил и умер незаметно
Пустынный мыс
непрочный горизонт

земных

деревьев триллионы —
всё тебе

Я выхожу на берег к рыбакам
и все они как ты

Утро на Тресковом Краю

К волне и от волны,
в толпе и за толпой
песочник дорогой,
кулик береговой.
По мокрому песку,
по твёрдой отмели,
до тёмного вдали
дойду — и поверну.

Не мост, не пирс, не док —
опоры вышли вдали
как очередь, глядящая
в невидимую цель.
Ни от кого забор
их чёткий перебор,
и плещет по ногам
волна к волне к волнам.

Мир бирюзов и бел —
блажен, кто в нём побыл
и трогал пены сеточку
и стойких балок гниль,
кто шёл на полюс их —
разрушенных, родных, —
чтоб положить ладонь
на их горячий верх,

кто знает, как сильны,
вставая из волны
с подгнившей стороны
и с жаркой стороны.
С тобой — и от тебя,

с тобой — и за тобой
по блеску осевой,
с песочников толпой,

с былым — и набело,
с умом — и без него,
внутри себя и вне.
Заплыв — и я в уме.

Стихи дочери

Смотрю на эти книжицы, вещицы —
как будет тебе больно
брать их в руки.
Так как же быть?

Как жить мне, ничего не оставляя,
чтоб не обжечь потом твоей руки?
Как сделать так, чтоб сниться — и не сниться?

Как, думаю, ты будешь думать, что́
себе оставить, что — моим друзьям:
той ручку, той пенал, тому плетёный синий,
наполненный до верха записными
под крышей пенсильванскою сундук —
в надежде, что большие разберутся.

Какой ты будешь сильной —
какой сейчас тебе не нужно быть.

Все мои дни, все жизни запасные
пусть улетают враз, не воплотясь.
Мне всей посмертной внеземной работы,
посмертных тех сизифовых камней
в оставленной рабочей жизнью Зоне —
важнее ты и твой покой земной.

Но, может, прилечу и стану — дочь.

На перевал

Два ангела со мной,
смышлёный и смешливый:
один подправит, прав,
другой смеётся, левый.

Учебник, термос, плед,
колёсной жизни вещи,
и жар, как NPR,
в подуве говорящий.

Я слышу шёпот-шёлк
уверенного знания,
и светит снег-смешок,
улыбка обожанья.

Немолвный шёпот их,
пока в снегу ты едешь,
как в детстве надо мной
переходя на идиш.

Два ангела кругом —
смешливый и смышлёный —
в слепом свеченье дня
и в музыке солёной.

Летящее в лицо
мы стойко вместе встретим.
На бисер дней моих
мы их бессмертье тратим,

покуда перевал
на низкой передаче
берём сквозь снеговал,
держа меня за плечи.

II. За рекой

За рекой

Я живу за рекой
вдалеке от людей
как сказал симпатичный один человек
в городке где ни повода нету для платья
ни толком погоды

Я из тех кто в вагоне сидит
против хода
спиной —
щекою
к бегущим одним
и мне кажется
тем же стволам

Запоздало родившись
запоздало живу
отставая
от всего что мне мило
как от Запада в юности в СССР

спотыкаясь
так же
Спидола наша ловила ворон
в Dire Straits
из безумья глушилок — но чаще
Ближний Запад
вставал что сосна
Дикий север Краевский

— в долгих сумерках утра
мерцающий
пластик стола

в выходящей на Кащенко кухне
радио
крошки в ребристой панели
слонового цвета с потёками патиною балтийская мель
забилась янтарная мелочь
— не выковырять и ножом —
коржик съеденный вместе
в семидесятых

в нашей первой — второй —
в Замоскворечьи
в Замостьи —
позавчера
просыпáлись отстав
от своих и чужих в стороне

Над морем

В начале — друг-подоконник и я, а ныне уже
я одна гляжу на ветки, и ветки ближе.

Заката монетный двор, конфетных денег
фольга разворачивается над крышами, гремя в динамик.
Складки жизни разглажены ногтем, смяты
единственно и случайно, смяты в один закаты.

Но снова на горизонте отчётливы флаги, трапы,
дальних ресниц решётка, первых подобиий скрепы.
А зайдёт — матово будет, гипсово, алебастро.
Будущее, как сумерки, летит на нас быстро.
Распахнут плащ его, лат выгнутые картины
мерцают, как нибелунги, на кинозал ретины.

И я отхожу от окна, ложусь в раскладушку-
лодку и с потолка вижу корму-подушку
цвета сумерек, углы случайной комнаты на Садовом —
где б ни приткнулся челнок в пейзаже готовом.

Московские потолки высоки́, и лепная пена
жизни узорна, вверх глубока вселенна:
во́лны, оборки, шаткий курсив прибора,
белое, голубое — я полюблю любое
валкое их волненье,

по новой скольженье,
к цели недвижимой видимое пренебреженье,
где, воздымаясь, падает стих мой непереводимый,
и на моей бескозырке написано «Непобедимый».

Всё это вновь покорно мне — пена
мятого потолка, гипсовая селена
так подошли вплотную: небо
вмиг обернулось — море, мёртвый светильник — рыба.

...Друг-планетарий, утро с дедушкой Исааком
за руку с неизвестным ещё нам отведённым сроком.
Дедушка мой влюблённый, первый мой друг бесценный!
Тайной вселенной наш полуподвал пельменной.

Как вдруг — пыльно-немые вывески стали буквы
и раскланиваются знакомо.

Стягиваются кольца сатурновы Гастронома —
высится на Восстанья,
с субботы на воскресенье.

А там понедельник-дождь, подоконник-лодка,
крыши, крыши, каждая, как открытка.

А за спиной в родительской гавани, в сумраке на диване
первая книга мерцает лилово, и новой няни
в кухне — на дальнем полюсе — бьются склянки,
покуда зеленоглазый спешит муравей Бианки.

А там и вечер. Падает занавес. Валкий торшер-тренога
пенал комнаты до порога

озарил. Треугольный журнальный дрожит, нестойко,
мамин редакторский низкий рабочий столик —
веер листиков, чистые наклеенные полоски
с маминым почерком, ножницы, клей, обрезки,

стоя ластиков, всё это теснится с краю, и вдруг мама
вскрикивает от страха:
думает, это мышка, а это же ластик!

Приоткроешь шторы — там за сценой
снег из ночного мешка.

И на мне уже ночная розовая рубаха,
на которой бурой ниткой ещё не вышито Ира М.
(время, вспять, в пять лет, время!),
в которой ещё поставят на подоконник
в полдник в детском саду, ибо сказано: беззаконник —

тот, кто не спит в тихий час. Но пока ещё тихо, то есть можно стоять в углу, сочиняя военную повесть.

Бремя легко домашнего наказания.

Но запахло солдатчиной — пошли странные умолчания, имя смешное Дурова, улица детского сада — юнги пошли в солдаты, и шли два года — в понедельник-стоик по Первой-Второй Мещанской, из уголка Дурова в угол Иры Машинской, мама, как Авраам, за руку, опаздывая, каблук ломая — от сентября до мая, от сентября до мая.

Жизни весенней треть!

Но зато потом как хорошо в больнице летом одной, как хорошо продлиться в пыльной вывернутой листе карантинной, странный пропуск в груди в первой поэме длинной.

Сложишь корабль-конверт: вот тебе борт — и снова голо сверкнёт вынырнувшая, готова жизнь поглотить, принять, выращивать, гладить складки юбки, галстука шёлкового линейки, а вокруг покачиваются бакены — деда Исаак и баба Феля, Форум, Уран, Повторного фильма.

И я отхожу от окна и ложусь в раскладушку — твой последний подарок, бинокль, сожму под подушку, и в тёмной решке, бегущей за облаками, вижу город с высокими потолками — тогда ещё разный у нас с тобой, его волнующиеся равнины, где на спине плывёт селенит лепнины, а потом, сразу почти — радужные пылинки в косом десанте лестниц-ресниц на летнем светлеющем горизонте, где лазурью становится кобальт наполовинный,

где ты, неязвимый, к цели неумолимой
снова идёшь и машешь, как в день последний,
и на твоей бескозырке по ободку: «Бесслёзный».

Там ты с моими вместе.

Резкий

след, бледнея, расходится над ножевою леской,
и громоздятся-сглаживаются скрепы, стропила, крыши,
ты меня ждёшь, расходишься именем в беглой бреши
меж облаков, знакомых, как тесные сердцу вещи.

Выдохнуто пространство и до конца согрето,
им любая волна, как раковина, раскрыта,
на городском закате даль, срастающаяся без клея.
Лодки писем к тебе полнятся, тяжелея,
и возвращаются,

полные голубою

к странствию неготовой голой водой морскою.

Закат в Ньюарке. Книга

БАБУШКЕ

Ты дремлешь, меня ожидая, одета
нарядная, у стола — скатерть в сто ватт — открыта

дверь, с порога я вижу вазочки и закуски
будем с тобой чай из чашек московских

Кобальт их небосвод, измайлово разливая
вóлнами на краю бежит кайма золотая

а в ней корабли, как петли в шёлковых ширмах
Как я люблю, как ты говоришь,
шорох

ногтем разглаживаемой фольговой
узкой закладки, складывающейся по новой

в устной книге, ясной и сильной рани
Фанички-Зины-Лизы-Шурочки-Лёни-Ани

с музыкой над Днепром, обыском на Никитской
с лицами всех моих перед лицом бандитской

В окна вошла округа, вспыхнула и погасла
но горизонт зеркальный — словно фольги полоска

Там волна волну залатает, фольга золотая
это ещё не точка, это лишь запятая

там вода воду тешит, волна волну утешает
и что ещё не бывало, уже бывает

2011, Ivy Hill

† † †

Вот новости — на Эхе, на песке,
а как было б проще.
Там родина висит на волоске
твоя, трепещет.

Бежит, божится, моется песок,
в твой берег жмётся.
И оборвать бы этот волосок —
а он не рвётся.

Родина-Ода

Ты ещё, как чужая, смеялась:
мол, не ведаем — вот и творим.
Но уже, как бумага, сминалась
моя жизнь перед взглядом твоим.

Ты не будешь ни зваться, ни сниться,
я не знаю в тебе ни аза —
лишь в кристалликах соли ресницы
и в хрусталиках сини — глаза.

Нас грузили на станции, дома,
нас остригли с тобой наголо.
Ты похожа на мальчика, Ното,
не похожа ты ни на кого.

Это были цветочки, виньетки,
бирюзовых небес купорос.
Но цеплялись уже вагонетки
и неслись, веселясь, под откос.

Нагружалось мерной тревогой
то, что раньше грузилось виной.
Всю меня ну, бери, а не трогай,
у тебя так со мною одной.

Я не встречи боюсь безрассудной,
не разлуки слепого нитья,
не разборки подробной и нудной,
ни забвенья, ни памяти я —

ты не будешь ни сниться, ни зваться,
только рельсов блеснёт лезвиё.

Бесполезно отыскивать в святцах
онемевшее имя твоё.

Ты дала мне такую свободу —
не доверишь перу, топору.
Я тебя никогда не забуду,
имя ношеное не подберу.

Иллюзион

Да лишь асфальт шероховатый
и чёрно-белое ситро.
Висели разные плакаты
у разных выходов метро.
И были всякие уловки,
чтобы запомнить, где какой,
а на конечной остановке
автобусные рокировки...
Как ты рассеян, дорогой.

Ты никого не растревожишь,
пожалуйста, не продолжай,
воспоминанья не подложишь,
как ты его ни наряжай.
Не видит прошлого картины,
кто голову не поднимал,
а только на одну картину
зрачок землистый поднимал:

как от Таганки к синей цели
по снежной грязи, по панели,
по сумеречной грязи он,
как рядовой, тащился к цели,
и тихо лампочки горели
над крепостью «Иллюзион».

Возвращение

Ах сугроб немое пение
над расколотой губой
не хватило оглавления
в нашей книге голубой

Снова снова куртки скинуты
на одетую кровать
дни что прожиты не поняты
но воротись в те комнаты
жизнь полжизни начинать

Там все где той же краской крашены
стены грубо как гуашь
и закатом огорошенный
в угол катится непрошенный
желтый папин карандаш

Где как дети спят родители
под аптечную совой
ты один лежишь свидетелем
одиноким часовой

В этом неслучайном ворохе
он разыщется не вдруг
заново в морозном воздухе
замедляющийся звук

Ты же отступая к выходу
что пожато не посеи
в холодящем чистом воздухе
оглянуться не посмей

Пусть горбом сугробом в крапину
март как прежде возлежит
он как локоть над царапиной
тебе не принадлежит

В неслучайном измерении
однократном вираже
годы данные в парение
испаряются уже

Собирай судьба пречистая
разворошенный тобой
дни пустые перелистывая
в новой книге голубой

Одно

Ставили шкаф темноты́, свет унесли.
Воздух осенний в лёгкие вот возьми.
Думала — холодно, вышла — а там свежо
и хорошо, хорошо.

Как сошлось — на семи ветрах, четырёх китах
в до-бытии, на маминых на четырёх руках
в тёмной квартире, до четырёх-пяти.
Как сложила, так и легло. Свети,

улица, музыка, ливневы пузыри,
Мир-Проспект, мокрые пластыри-пустыри.
Ибо сквозь все слои вот оно зажглось —
чудом сердце одно нашлось.

Фильм

М. АЙЗЕНБЕРГУ

Воздух дырчатый и улицы-закладки,
чёрный сахар, колотый кайлом,
и арифметической загадки
головокружительный излом.

Старый сахар с искрой в каждой лунке,
чёрный майский лёд в углу двора!
Метра два нетерпеливой плёнки
или только метра полтора...

Жизни оползень тут начался когда-то,
чернью на текучем серебре:
под галошей грязные караты
и лопата снега на траве.

Космос — это кучи льда и угля
свалены у северной стены.
Угол солнцем траченного дубля.
Я смотрю из брошенной страны.

Москва удаляется

До свидания, суровые, до свидания, толковые.

Плывёт айсберг, прочь бомжовый откололся,

уплывает топорок.

Впереди — глядит — ни льдинки: глади, глади, воды голые,

позади — ледовый купол, сверху маковый пирог.

— То Москва-роженица многоброва разломиться готова,
снежным валом городище, чёрным рвом обнесено.

А найдётся мне родное — всегда хмуро, сурово,
я меж ними слабое звено.

Кто от целого отломится — тому полслова не обломится.

Разломился маковый, на лёд просыпал мак.

А затрещали ворота, раскрылась пословица —
кому не сиделось — остаться не смог.

Удаляется ледник, слепит глазурь Василя,
уплывает обливной, сверкает — вон вы где!

Плоть от плоти ваших сил — моё блаженное бессилие,
горячо ему, осколку, в чёрной воде.

Нейнштейновское

Е. С.

Ты летишь теперь над океаном,
я летаю по земле дневной
меж моим, в тумане бездыханном
озером — и городком NY,

что столкнёт — и ты летишь, сияя,
не на звук и даже не на зов,
треть от трети тенью отмеряя
на Шестую начинать с азов.

Вязаное тёпленькое платье
ты надела в аэропорту.
Самолёт, похожий на объятие,
дёргает пунктирную черту.

Вот и мы измерим понемножку
весь континуум, его шальную взвесь
— школьницей, успевшей на подножку —
нет, не весь, гляди, ещё не весь!

Перемена маршрута

А. К.

Вот моё.

А твоё получила перед отлётом, буквально
переходя по рифлёной резине
по мостику с твёрдой земли на нетвёрдую —
и прости, но я вздрогнула от последней строфы

(Нас долго не выпускали, пригрозив
поначалу счастливой ночёвкой в Борисполе:
якобы (с детства люблю это слово
— как яблоко
неудержимо по кругу по краю)
в Амстердаме штормило, хоть weather.com ничего
не давал такого —
мы, в очереди, гадали)

И маршрут оказался странный —
загнали куда и Макар — то есть в Лондон, а потом
я летела без времени из
Хитроумного где так ненадёжен wi-fi,
но отличный рассветный espresso
у теплеющего понемногу стекла

Наконец я летела
в огромном двухпалубнике, кажется, 60-х годов,
совершенно пустом
и смотрела на крошечном грязном экране —
ты знаешь, он тронул — ужасный (heartbreaking),
то есть почти без киношки

The Danish Girl, из 20-х,
вот и времени нет наверху
и, в общем-то, нет расстоянья

Облака, облака

1

Континент наискосок летя,
у меня слетела шляпа над Канзасом.
Синие квадратики телё
в тихом самолёте неказистом,

если возвращаться из хвоста
по проходу из фланели тёмно-синей.
Если под ногами высота,
всё в груди компактней и теснее. —

Так на Юго-Западе, поди,
множатся окошки на морозе,
и микрорайон лежит, как зверь в степи,
в снежном упакованный железе.

Неродная первая родня
там жила, они меня любили,
с рук собачьи стаи, как волков,
прямо из окна с утра кормили,

распечаток складни, свой кобол-фортран
телефонами друзей марали.
Всё ещё учились умирать,
не умели — и не умирали.

2

В тесном облаке — вот прямо у щеки,
в облаке, где свет времён застоя,

точно и подробно знать свою
в ярко-зимнем кубе мезозоя —

ту, что висится, оформясь в колесо,
что клубится, мой покой неволи,
что мне выдали, что выдохнули, всё,
что к минуте явки наковали,

ту, что тронешь — больше не болит.
Водишь взглядом ниточки позёмки —
Академиздат, палеолит
в сумерках и адский свет подземки.

На конечной, где всегда темно,
адский свет в киосках на морозе,
а родная слякоть у метро
пахнет разноцветной лыжной мазью,

жду стою автобуса-годо —
если закурить, то он подкатит,
весь горячий, в дизельном grandeur,
и меня в последний миг подхватит.

Земля приближается

На выселках смотри
на весёлках
на угловатом ломаном востоке
на гнупом снизу прямо на обрыв
плывут ночные солнечные доки
стоящие на рейде города́
а если вдуматься то малые посёлки
на резаных как puzzle больших заливах
ждут навигации вернуться в города
и так Далёк Восток что всё есть Запад

Там городские сдержанные танцы
шары из маленьких квадратиков зеркал
вращаются на нитках планетарных
Большой земли запретный плод
и зеркальца болот
и чёрный ситчик: луг-болото-пойма
и снова танцплощадка фонари
и яростный фонарь ночного склада

Они внизу они уже внутри
он накренился забирая влево
Как это клёво, боже мой, как это клёво! —
ладонью льда касаясь, конькобежец
освоивший лишь левый поворот —

ты новичок, ты чуткое никто
и ты вот-вот
сейчас
сойдёшь на землю
на скрученных
от долгого дрожащих перелёта

сойдёшь вот-вот на свой благословенный
Грунт а под ним кору
а вдуматься — на яблочную кожу
на шкурку в пятнах что твоя шагрень
не знающая извести и воска
уже потраченную
уже как в Первый день
потраченную
туда где каждый день как возвращенье
с Колымы

Лето в родном городе

Спросишь мороженого — давай паспорт.

Спросишь дорогу — почему тебя не было кто тебя знает.

Повсюду на всех перекрёстках,
у груды камней Хо Ши Мину
— разбился флакон разлился
липовый липкий,
блаженный,
как память, чрезмерный.

Милые же мои
друзья
ходят, пошатываясь,
легки и бесплотны.

Вытек с балкона на Ленинских, на Воробьёвых,
над предгрозовую Москвой
над набухшим большим воробьём,
где знакомые травы
вдоль тропок собачьих овражков глядят, как чужие,
колеблемы ветром закона.

Ди, камыль и колюка легки и бессолены —
близнецы-тростники мои,
кувиклы в метро и поврозь.

Легко забываешь

Легко забываешь, насколько же
 севернее и белей ночи
румяней на свете закат
горячей
речь дождя по листве
как неумеренно сладко цветенье
и как неизменны
 бессмысленно широки
проспекты времён
 Империи
за третьим кольцом
печальны пусты

как спится
на дне
на сухом и широком пыльном донышке
Третьего Рима
в запылённом сосуде
с узким горлом
царапины веток потёки и блики
высохших
июнь
как на рассвете
 спадает
судьбы
одеяло
его тополиное
его нетяжелое иго

Каучук

Воротишься ну что ж воротишься
вверх — не держась — касаясь
перил
резиновых
знакомого тепла —
наверх
на свет
шахтёр

О летний
весёлый пыльный запах
распальцовка
полузнакомых улиц за кольцом

Искать:
вот-вот найти
за этим вот углом
за этой стройкой
двором
площадкой
за бессмертной тенью
ларька
осёдлой стайкой
голубиной

Москва у метро. Чужестранец

Чужая музыка мобильная,
паро́к над душами живых.
Небольшая дорога длинная
прохожему о мыслях двух.

Лузга ларьков у того выхода,
чудные́ марки сигарет.
Нет у него другого выхода,
кто бронзой мятою согрет.

Он на винтовку опирается,
не зажигая фонарей,
и сумерки его сгущаются
над кашицею у дверей.

Всё друга ждёт, бойца, товарища —
вот-вот на талую тропу
горячий пар, в лицо ударящий,
без шапки вынесет в толпу.

Дыхание дверí, вращающей
слоёной — лопасть — кормовой,
лишь одного не возвращающей
в своей раздаче дармовой.

Нам остаются только здания,
в аквариуме чудо-сом,
углы высотки на Восстания,
где шёл кругами гастроном.

Там, как чужой, приезжий мечется
и выход не находит свой,
и всё черней ступени светятся,
и спит, и сом ещё живой.

✂ ✂ ✂

Писать стихи — какой анахронизм,
мы это дело скоро похороним,
и только снить
бесцветную бесхордовую нить
тянуть из живота
бесцветной, как рассвет, прозрачной прозы
и жизнь сгребать к утру,
как листья в грудю.

Серебрись, мастерок

ВЛАДИМИРУ ГАНДЕЛЬСМАНУ

Театральный разъезд,
говоришь, ремесла́, эти листьев обноски
первый холод разъест,
как потомку ненужные сноски.

Всё одно! Полетим,
воробьём из окошка кивая —
не зачем, а затем,
что порука стекла круговая.

На карминный фасад,
на живучие тёплые камни,
на нескучный посад,
не наскучило, брат мой, пока мне.

Вышел век, да не весь,
вот он — охра и стружки-обрезки.
Так лети же, развесь
на нездешние ветки серёжки.

Там трамвайный рывок,
там, за рынком, в ядре околотка
переулок глубок
и прохожий летит, как подлодка,

там взойдёт, как пройду,
Патриаршьё закатное солнце —
пусть родную слюду
развезло перламутровым сланцем,

пусть бесстыдной, густой
кроют резкою краской московской
достоевский пустой
двор, дрезину да ливень тарковский.

Жив одним ремеслом,
поселенец, играющий в ящик,
с котелком, номерком —
я такой же стекольщик, жестянщик.

Разуверишь меня —
и тогда я не разуверюсь.
Ерестись-ка, строка,
золотисто-ершистая ересь,

разлетись на восток —
хоть какой-никакой, а таковский,
торопись, мастерок,
говори, говорок,
 ленинградский, московский.

III. Giornata

Giornata. Облака в окне на закате

Небо, в оба края растворимо;
облако, что Рим, неоспоримо.
В струпьях краски облетая — рама,
радужная, где лучи, слюда —
а за ней Колонна, колоннада,
зареву закатного фасада,
алая гряда, ступени ада —
нимбостратус Страшного суда.

Над землёй скользят собор и пьяцца,
тот костёр, с которым не согреться,
вспышки лучевые, папарацци,
кучевые кручи и лучи,
гнутых мастеров крутые спины,
на плечах серебряны пластины
с патиной. И цепи, и куртины,
и сангины длинные бичи,

и в спирали скрученные плечи.
В каждом облачке свои пылают свечи —
в главные ворота по-цыплячьи
валят от тебя ученики
целыми цехами в толпы света.
Но дневным трудом ещё нагреты
туч работных руки узловаты,
медленно лежат, кочевники.

Я стою, мои раскрыты пальцы,
на стекле распластаны, скитальцы,
от костяшек вниз сползают кольца.
Мастером родишься только раз.
Жизнь летит, смеясь и осыпаясь,

жаркой рамы шелушится роспись,
и ложится на дневную известь
чистой фрески занебесный лес.

Я стою, не зажигая света,
ветвь от ветви требует ответа,
над окном моим на небе мета,
подоконник, что верстак, широк.
День проленишься — и видишь, в край из края,
как, лесов ещё не разбирая,
прочь небесная уходит мастерская
на восток и дальше на восток.

† † †

Пустыня меж домов
воскресных однооких
Закат воскресный злой
в пыли небес далёких
Воскресший голос мой

Ничейная земля горячая сырая
Толчёное стекло внезапно догорая
меж городом одним
и городом другим
поглотит тёплый дым

Я кузнец моей травинки

Я кузнец моей травинки,
жестянщик жести.
В полдень известь, ни кровинки,
свет к шести.

Ночевали — где дневали,
смели праздник.
Я творец моей неволи,
вольный всадник.

Я коваль моей осоки
обоюдоострой,
блеснувшей протоки
резчик — здравствуй,

речка! Вон косцы осоки
шеренгой косою,
веют ветры травосеки —
что ж я угасаю?

Тучи, тучи, как известья,
над замостьюем.
Коль из голени, коль весь ты
одно запястье,

вверься в сухоту ночную,
дня немóту.
Кто клонит твою сухую,
знает, ктó ты.

Моим друзьям

Е. Сунцовой

Они легки на спуски и на подъём,
они сваяют вам за пять минут,
когда их руки заняты рулём,
баранкой чайной, ясным днём-рублём.

Им тридцать с чем-то, много — сорок лет,
немного их, но в друге спрятан друг.
Пока в депо вздохнут, зевнут, нальют —
они седьмой очерчивают круг.

Тридцатилетние ведут мой самолёт,
покуда вежливо — ага! — стюарды спят.
Четыре, говорю — число труда,
и вот тебе кирпичика четыре.

Или пускай их будет пять — по мне
чем дальше жить, тем меньше тех оков.
Стюарды спят, и носят чай во сне,
крыло в извёстке ближних облаков.

То мастерок со мной, он мой сурок,
не отрываясь волочёт черту.
— раствор в сиянье от крыла до дна —
и вверх на них смотри, когда одна.

Рифма

Как женщина, негромкая с утра,
с пергаментными нежными тенями —
ты, рифма бедная,
любой
дороже и лихой, и небывалой.

Она стоит в халатике цветном
на кухне, освещённой первым снегом,
единственная —
и своей
не сознаёт, сжимая сердце, силы.

Эмигрант

Один вот — французский гражданин
родившийся в Румынии германец
еврей
на солнце щурясь
переводил Есенина
на свой, как выпало
— немецкий

Другой, полугерманец-полуангличанин
из Выборга —
тот вывезен на саночках в Финляндию —
и прямо скажем, вовремя, до всех
февральских октябрей
и вьюг
но не ужившись в финской школе,
где задирали, но уже как русского,
переведён был в шведский интернат
как нынче бы добавили: *элитный*
Вот он и стал по-шведски
грубо собирать
вверх
вбок
из кубиков
коротенькими строчками пришельца —
и вдруг возникло солнце

Поэзия, галактика вокзала!
Целана солнце целое
один
нерасщеплённый
страшный белый цвет
А Парланд мой! Несущийся в открытом

алом
вдруг
в 22
(в тягучем Каунасе, высланный отцом)
как маленький, исчезнув в скарлатину?

Кто рвался в музыку, вскрывая жилы
крест-накрест рамам,
не еврей, не выкрест,
а стал поэт

Кто, англиканец — вдруг иезуит,
и брошенный семьёй,
собой,
всё к линиям тянувшийся —
неловкий
ломкий
грифель, бледный карандаш,
походы с другом по холмам Уэльса —
а стал поэт
и умер в Дублине
чужом, холодно-пылком
Довременные
странные стихи
гигиенически сожгли
монахи-братья
и я, чужая, плачу по нему

Поэзия. Великая пустыня,
пересечение шёлковых путей

Не стоит
искать себя где положил вчера
Да жив ли ты вообще,

молитвы, алфавита
ни пола, ни орбиты не сменив?

Усни одним, а
встань другим, четвёртым

Всё ра́вно
горит
смешно в печи смешалось —
поди
пойми
откуда хворост

Gymnopédies

Покажи настоящих
неровный желток,
тот, что пахнет землёй и помётом.

Те быстрее исчезнут, протухнут —
растечётся кровавый мазок
некрасиво и зря —
словно воин
оставлен на поле
загремевшей в анналы
июльской жары.

Пусть недолго живут,
некрасиво умрут, не родившись.
Но зато они не умирают,
говоря тебе, не умирают —
даже и не родившись,
напомнят тебе о себе.

Там — прилипнет к ладони
осколок
бугристой скорлупки —
подоконника сизые стружья —
как неровна прохладная известь
тепла!

Там — крупички желтка,
присохшая острая крошка
сгибших зародышей
на случайных живучих вещах.

Там — внезапный рассвет,
раздавливший окрúгу, по шпалам,

вжимаясь в лимонный живой
беглый щебень
в городке на излёте Европы.

Полоса отчуждения на закате

Общественных земель, отторженных, зажатых
в двойной джинсовый шов, овражиной зашитых
промеж двух колоннад
(дымящий Ветроград,
горючий Стеклоград),

кустарник золотой над розовым оврагом,
там год идёт другой пред дверью, за порогом
и, как восход, горяч,
закат не ждёт, горюч,
и нечего беречь.

Где поднялась гора — там впадиною стала,
но всё, что жглось и жгло, ни капли не остыло.
От облака до дна
вся, как одна, видна,
оврагу жизнь дана —

от камушка на дне до родинки над бровью,
от камня к бабушки недавнему надгробью
до вдовьего плато,
где твоё золото
без края разлито.

Тому, кто потерял, — чужа земля, ничейна.
Но до конца стоит, горит её лучина,
и на ничьём юру,
как будто наяву,
я нашу жизнь живу.

Где разошлась земля — да будь лощиной сшита.
Пылит последний луч, ослепший всадник света

над западной плитой,
и день сжимает свой
последний золотой.

Но золото зашло, и платина разжалась,
и разрешилось всё, что дотемна решалось,
и белка, как игла,
от гладкого ствола
к стволу летит, светла.

IV. Жёлтые точки

Четыре

Один

подарил своего Кришнамурти — привёз в Шереметьево
и бросил вслед в самолёт —

я и таскала её за собой по всему эмигрантскому следу,
эту пачку густых ксерокопий
в синей советской негнущейся папке

Второй дал весёлого чудо-ребёнка с оттопыренным ушком

Третий — любимый оранжевый велосипед, полудетский,
складной,
и насос к нему, и ещё фотовспышку, рюкзак и треногу

У четвёртого ничего не было, он и отдал мне себя

Жёлтые точки

Ты рад за меня? — я нашла второй носок!
Очень. А сколько времени? А давай немного отодвинем
занавеску. Так? Да. Там что? Там уже серое. Снег?
Три почти.

Три! Посмотри комната стала коричневая — да? и у тебя?
И всё выступило, ну ты знаешь,
уложили — вначале всё чернота и слиплось, опять та
чернота, которую ждёшь и боишься,
а потом намешали белил
из крайней нетронутой ямки и кисточка грязная
и всё проступило — у тебя тоже коричневое
немножко жёлтое?
в нём маленькие такие пиксели,
а вещи, углы, скинутое с себя, уложенное кем-то на стуле
— выходит на сцену из-за кулис.

Не знаю, я ведь жил за кулисами, и вдруг я увидел зал.
Ты говоришь в одеяло. Вокзал?
Нет, правда! там на улице станция, оно движется, то есть
как станция — мимо
платформа и фонари по глазам...
Спи, ты опять не выспишься.

...как платформа, ночь, толчками на стыках, Морзе.
Знаю, конечно, это как море, качка.
Спи. Я буду тебя качать.
А куда убежала водичка? Сейчас принесу. Поставить
сюда? Ага, спасибо. Поправить? Поправь, пожалуйста.
Щель в занавесках — видишь? — правда, похожа на
дробь?

Душно, может, откроем и выключим отопление?

Вот. Воздух пошёл. Хорошо?
Спи, человечество делится на тех,
кто засыпает вме
и тех, кто засыпает с те

Чёрный пляж

Иссиня-чёрная волна
вздывается, себя полна,
а в ней японская луна,
средневековая монета.

Вначале грядочки песка,
светящегося дна песка,
а там — не наши времена
уже невидимого цвета.

Ночной купальщик-нумизмат,
минуя отмели, нырнёт
за ярко-пенный, в тыщу ватт
светящийся плетень.

И вон грядущее бездонно говорит,
совсем другая тьма не по колено.
Но в тыщу сен на дне горит
нас познающая селена.

Камчатка, zoom-in Колыма,
ты, тьму прорвавшая Сетчатка.
Ты на меня наставлена
без племени и без початка.

Вот она, я — лежу одна
на узком непочатом пляже,
прибою света отдана
под лаковым лучом перчатка.

Так ящерка себя таит
под чёрным флагом дарвинизма,

но на живом песке стоит
Твоя сияющая призма.

Так предпоследняя война
уходит, вновь себя полна,
ей снова море по колена,
идёт по водам Голова,
идёт на дно, на дно взрывчатка.

Резец и лезвие-трава
удержит берег, как одна
всей слабой силою растеньиц.

В песке увязший пехотинец
в последнем заживо броске
последним избегает плена

— Твоя непарная перчатка
на вулканическом песке.

Зигфрид. Лесная песнь

АНДРЕЮ БАУМАНУ

Нас от нас по секрету родили
— так и мы потихоньку пойдём, без усилий найдём водоём

узловатой тропкою рептилий
из чешуйчатой чащи на свет — потому что сдаваться не след

Та поляна, трубою подзорной
уходящая вверх в облака — это сразу потом
а пока

оторваться от чащи узорной —
раз! — в изрезанные края — как отпасть от лесного ручья

Что-то путник
от леса отдельный
не напьётся никак — бурелом под коленом трещит и роддом

муравьиный щекочет
родильный
влажно-бурый трепещущий сор — он и кладбище он и собор

Мы всё утро травинки таскали
до вот той вот коры — мы устали
но к закату построили дом

Но ещё до того как стемнело
что-то в небе сгорая летело
и посыпались искры с небес

и прошили гигантское тело
наших полчищ бредущих поврозь — словно слёзы чужие —
насквозь

Открытые окна

С. Т.

Случайно проскочишь на алый,
открытые окна, K-Rock —
весёлый водительский ветер,
водительский ветерок.

Deer Purple, Pink Floyd бывалый
по гнутой, бетонной, литой...
Серёжка! Деревья — как дети
на скорости алой такой.

Комната на Мещанской

1. в лодке

лопатов весла
бороздящий лёд огонь
пожалуйста табань табань табань

льняные льдины без морщин и складок
соскальзывают чресла
сладок сладок сладок
коричнев сумрак комнаты ночной
как совы страшные следят из тёмных сумок

как будто бы родители со мной
у той стены — спят — руку протяни:
за шторой лодка прячется в тени
рубашки первой узел послуни тесёмок
зубами погрызи
ещё чуть-чуть — отвяжется она сама собой

2. экспедиция

чёрные слитки воды в воде
видишь в своей ледовитой постели просто не знаешь где
как глубоко
— Я «Магеллан» — не дошёл до цели
— Я «Магадан» — остаётся в щели
вьётся воды год или два
на волосок
только не знаешь где

Миф

ОЛЕГУ ВУЛФУ

Почти ничего не случилось на сетке воды

Прогнулось вот тут пробежали шаги плавунца
коленки и щиколотки голень блеснула как леска и вот
прогнулся батут и подвинулся вправо листок
порвалась поверхность вошёл наконечник стрелы

и всё тяжелея перо погрузилось на треть
Подуло У берега полусклонилась трава
Плеснуло у ветки Сверкнул в середине восток
Как долго зевок за сокровищем в грот собирался
Ушёл и в ложине слеза
Ещё ничего не случилось и может ещё не случится

Зола на ладони уже холоднее ладони Ого
ликующий лектор указку луча словно леску
закинул до этого берега вон до хитиновой
чьей-то скорлупки
уже не касаясь ячеек воды серебрящей глаза
за леса
Лесой исчертил проводами поднявшийся воздух

✚ ✚ ✚

Г. СТАРИКОВСКОМУ

— Ибо любая вода,
в тысячу ватт закат —

Понт:
горизонт
тем и чреват.

Знак бесконечности: бант,
дельты атласных лент,
глин
голубых
кожа, ладонь

дна, где любой — Гераклит,
скороговорки рек:
грек
или рак —
оба рекли.

Дымоход

П. БАРСКОВОЙ

1. Порхают маленькие selfie,
слепые зеркальца ли, эльфы,
нарциссов жадную пыльцу
размазывая по лицу,

и нежное мелькает «ах»
толпой фонариков в кустах

2. Каждый охотник и лежебока
ждёт объятия от Фейсбука.
Отвечает ему Фейсбук:
— Как тебя обойму без рук?

Сам себе наследил в передней,
я, мой милый, всего лишь средне-
арифметическое ~

3. Посыл летит и пропадает,
как небо, в небе пропадает.
Туман вращает колесо
всеколлективного бесса —

Там склока, тут стрельба из лука —
весёлая пыльца Фейсбука

4. «Ибо весна»
и.о. весна
и б. весна
ясеня асана

Над ним Óблака
вещмешок
ещё в себе вещь
уже ожог

5. Я ордината, ты абсцисса, —
приникнув к пестику нарцисса,
сказала веская пчела —
в себе уверена была.

Тобой уложена в строку,
гляжу на мир, как на боку,
и я мой Боже

Вратарь

Б. ЛЕЙВИ

вратарь перефразирующий бунина
мне говорит как улыбаясь больно
а точнее показывает руками
глазами
разными своими голосами

ходит по той линии в траве
по лезвию
вот тебе как говорится и аллюзия

защитою всему
как внутри ему велено
а где — а где постелено

какие сны выдали — те и будем смотреть
где выпало — там и будем стоять

кто молод — тому
сидеть на лавочке
солдатиком
стоять на воротах
лети слово в перчатку
слово-словечко

смотреть в небо там
пускай не серебро —
давно олово
олово олово
зато наше олово

Ты тоже

М. Б.

Ты тоже исправлятель и решатель
чужих проблем
поставить на попа
перевернуть
толкнуть
и потащить

по войлоку проклятого ковра
по стланику
 по мерзости подлеска
распарывая плечи об узлы
колючей проволоки
безнадёжной чащи

и вымести
и вынести беду
в утиль и в ров
как мусор и зловонную посуду

как пластиковые чёрные мешки
что в щиколотку тычась
где плещется ещё внутри

всё вынести
— и распахнуть забитое окно

Одной породы да
Составить список дел
взглянуть в лицо трагедии
не прячась

шторм сердца
безнадёжный умный шум
умерить пылом
спасительных спасательных работ
от сумерек

до страшного рассвета
в лучах и первых птицах пустоты
увидеть смысл
в отсутствии его
и равнодушно поднести к глазам
кровавые и грязные ладони

опять
спастись
но не спасти

Эвристика

вот уезжаешь и я узнаю
как я буду старая

вот так как сегодня
передвигаться в свете позднего утра
мыть небольшую посуду
убирать предотъездный поспешный завтрак
открывать окна
повсюду

в спальне
аккуратно раскладывать на постели
твоё бельё и моё бельё предотъездной стирки
выдвигая и задвигая ящики
поглядывая в окно
обходя постель
словно осеннюю пашню

и уносить лёгкую
пустую корзину
в подвал

пустой
подниматься
не оглядываясь
заново целой

с яркой как вывеска
в подворотне
буквой внутри

V. В талом свете

В талом свете

Так что ж, в ответе мы за подсознание
иль подсознание в ответе за меня?
Искать найти просыпанные звенья,
лицом на землю лечь, как семена,

как дуги лягут на ладонь, марая
судьбой бессовестной, сырой горой зимой,
сыра земля или зима сырая,
земля глуха иль человек немой?

Изменчивые на ладони дуги,
невидимые небу на боку,
как прутиком не отрываясь doodle
в раздумье лыжник водит глубоко.

А помнишь, для обложки «Разночинца»
рванула с аппаратом в лес, и тот
мы выбрали туман нежней свинца,
тропы моей щемящий поворот?

Как в Рингвуде в таком же снежном свете,
в тех сумерках, наверно, декабря
запутавшись, на талом повороте
в слезах я убежала от тебя,

как ехали вдоль брошенной плотины
и лёд блистал на тающей скале,
над тусклым льдом темнеющей пластины
как ехала, как таял снег в золе.

Следы-контакты, брошенные фото —
из них который станет черновик,

и выйдет в снег и будет ждать кого-то
в снегу по щиколотку выросший тростник.

Пред снегом-путником — какое это чудо,
смотри скорей: ты жив и я жива —
пред путником, вернувшимся оттуда,
коленипреклонённая трава,

овраг-трава, растущая из скверны,
где я твой сын, что слишком долго рос.
Сны повторяются — платформы и цистерны
товарняка, идущего в откос.

† † †

Так магнит прилипает к магниту
никогда-никого-никогда
так во тьме расплавляет монету
на безлунных платформах руда

так вокзал громоздится разлапист
удаляясь считая до ста
— Ты сильна, ты чиста, как анапест
— Я с тобой, как анапест, чиста

Новая любовь

не знали мы ни он ни я
такого одиночества —
чтоб тёрлось я с другими я одетое в рубаху
одетое что голое
его одно голодное
моё одно голодное
незамечаемое мной
любимое тобой

К полюсу

Никита Тимофеевич Козлов — преданный, ещё с предлицейских лет, слуга Пушкина. 27 января 1837 года именно Козлов переносил раненого А. С. из кареты в квартиру. «Грустно тебе нести меня?» — спросил его Пушкин.

ночь 1/2

Как одна за одним, без слов,
как один за одной пошёл —
так друг другу Никита Козлов
стали, друг, посол.

В полдень полночи горб двойной,
что герой-верблюду,
гора двинула за горой,
простынёй-горой.

Как глазурный бредёт ледник —
за хребтом хребет,
в два следа, в два горба каяк
в два гребца гребёт,

так, взрывая подзол, песок,
корень с корнем шаг в шаг —
пятерни с пятернёй замок,
две ладони — шов

в шов — и, к стене лицом,
друг за друг на одном боку,

там, за гребнем, за полюсом,
обернуться к проводнику:

— До обоев, к стене ладонь,
а теперь я пойду один,
незнакомый узор тесня,
а назад понесёшь меня.

ночь 1/2

В два шеста уходящий плот.
С правого плеча,
как со склона, сползает плед,
спина горяча.

Так сползает последний лёд,
как в долину, в ночь.
Сможет полночь, как жизнь, верблюдов
вынести, пересечь.

А последний сойдёт покров
тёплых ледников —
ещё утренних снов весней,
свет-Никита за ним, за ней.

Солнце в лесу. На пороге

Вот человек с утра: два ребра — сруб.
Тяжёлую дверь надави,
выдвини в сугроб —
и полоснёт синевою двойною силой.
А косяку не верь,
потолку не верь —
только дуге в снегу высотой в дверь,
радуйся этой дуге весёлой.

Солнце сбивает с ели двойной замок —
медленно падает, ветвь задевая, в снег,
— как расцепились, вдруг разошлись объятья,
звенья распались, и расплелась пенька,
вымахал рослый ствол из трухи пенька,
и, рассыпаясь,
искры, меньшие братья,

стали собою.

Нет, не у входа — а
выдоха встанет свобода и скажет «да».
Солнце тебя нашло и в кривом овраге.
Леса длинна полá,
и широк запáх.
Вечности сколько набилось — как снег в сапог!
Ты уже вышел навстречу своей отваге.

Конёк-Горбунок

Что делилось на два́,
то разделится вдруг на́ три.
От сейчас до утра —
лишь пустая ночь об одном ветре.
Поле-озеро светит в две слезы,
а то во все три,
а ты молчи у печи,
жар-стекло протри, огонь вытри.

Вон по льду-окну к другу берегу
след к следу це́пится,
и савраска бежит, лёдкий лёд дрожит,
ей не спится-спится,
Говорит: я к утру слезу вытру,
уйду в неосознанку,
ты сама вези меня,
звонкая, вези, салазка-вязанка.

В петлю из петли прочерки-следы,
из следа в след.
Навернул январь
на стекло треск, черноту-свет.
Через поле-окно, в угол из угла
туго вышло вязанье,
ты вези, не сморгни, смотри,
моё несказанное наказанье.

А деревья зимы всё идут к земле,
анонимы.
Они к лету придут,
все в листве на свои придут именины,
и стучатся в пустой,
не узнаем, каким спелым ветром,
а кто ночью не спал, он потом доберёт
целым светом.

Река Иордань

По голень в илистой Иордани жёлтой, словно Янцзы
я уже на границе стою, у границы.

Толпы накатывают на сувенир-лоток,
медленный глинистый катит на юг глоток.

В длинных мокрых футболках «Я люблю Иордан»
паломники из не бóльных уже, как небывалых стран.

Вижу, как в тростнике усевшись с трубкой, на сей уют
ты бы поглядывал — как жадно они поют! —

на терпеливых икарусов огненный каучук,
то, скосив: у плеча по стеблю странноприимный
диковинный паучок

к своим тащится точно в каком-нибудь Угличе.
В небе угли печные, как угольки ночные на млечном
твоём плече.

В нашем лесном под крышей глинистой дождевой
в лёгкие дни где дышишь вокруг, когда живой.

И тут ты смеясь оглядываешься — лучевой сноп —
и глиняных слёз столп, я говорю стоп.

In Absentia

Lento sostenuto

I. Печь

Быть одному — великое искусство,
особо к ночи,
с лампой и вином —
держат свой день до точки,
не ронять,
не падать, не склоняться к детективу,
а если и склониться — то пресечь,
не досмотреть, не дочитать,
очнуться
и посмотреть в запретное окно
на озеро замёрзшее — и встать

к печи, давно погасшей, как к ребёнку,
присесть пред ней на корточки (как он,
гремя заслонкой, так же заглянуть)
и гнутый
ещё горячий
вытащить поддон —
он полон звёзд
и палочек, торчащих
из пепельной Помпеи до краёв —

и медленно, с золой — ещё живой,
чуть шевелящейся от моего дыхания —
нажать коленом и толкнуть бедром
дверь на крыльцо,
живущее отдельно,
и вынести на колотый мороз

пылящий и мерцающий, дрожащий,
дымящийся, как плод, квадрат
его золы,

запорошённой лестничкой
вслепую
в глазурь луны
нашаривая наледь,
становясь
двумя на каждой,
с ним в руках
к земле спуститься в снег,

но, шага не дойдя
до выхваченного, как из кинобудки,
оврага,
вдруг не удержать...
и вывалить на снег
к себе под ноги в тапочках домашних
горячий вмиг погасший тёмный круг,
что стал землёй и лёг поверх сугроба.

Быть одному
и, опустив поддон
с забившимся в углы
остатком тусклым с набежавшей искрой,
задрать пустое плоское лицо —
пустой луны январской отраженье —
навстречу разбегающейся, хвойной
набитой светом тьме,

стоять в снегу, высокой ели ровня,
стоять, как равный, звёздам отвечая —
один солдат
в своём лесном окопе.

II. Снова январь

Полночь остановилась словно пустой вагон
отцепленный, где ты спишь, мальчик, со всех сторон
уголь-зола. Как там тебя зовут теперь, Узала?

— Помнишь, как звал тебя?

— Как я тебя звала?

Вижу сны твои, стыки пустых платформ
а где-то к пяти — раз! — в коллоидный хлороформ
лета — гляди, как занялся Куст, его кожистой хлорофилл —
всё, что любил, пришло за всем, что любил.

Так, листьями твоего дерева ли куста
полнится жизнь моя из того листа,
из твоего Письма, в 2:30 ночи Письма,
хоть неполна семья, родилась зима

и ещё зима. Зола не идёт в ведро.

Таёт, что ляжет, — всё нынче июль да ведро.

Печку топлю и чугуном гремлю —

вот этой золой люблю, печкой люблю.

С медным ведёрком, с чугунным большим ведром
кто там из нас идёт от крыльца двором?

Кто задирает голову — а там дым высится золотой?

Кто под луной стоит с яркой твоей золой?

Зорек июль — мороз, подушки без наволок.

Кто вышел в сад покурить, и стал двор мал-велик?

Кто этим елям ровня, шпильям прямым, как луч?

Всё, всё растает, чему не лечь.

Кто покурить вышел — и странствует налегке
с так же губам знакомой,

как твой пепел — реке,
бабочкою чернильной, якорьком на руке?

III. Озеро. Сияние

В доме кажется — уже темно, а на озере ещё светло
и месяц.

Озеро's glistening — стрекозы,
маленькие глиссеры снуют, разве что воды не задевая.

Слой стяжения туманится, над ним
нимб, свеченье вод околородных —
перевёрнутая вниз лицом
гладь лежит, как неживая —
кажется, вот тронешь — и порвёшь
и уйдут, уткнутся в ил, июль
дом-топор и гнутый лес-ножовка.

В доме кажется, что ночь, и зажжена
наша лампа с падающим криво
светом, заплетённым под вино,
под его заплечные запасы.
Почему я их ещё храню
под висячей лестницей спиральной? —
Ходит ходуном, как подымаюсь
в спальню,
где уже я зимовала.
Я иду — в остывшей темноте
подо мной мерцает, провожая,
строй-мальбек с покатыми плечами.
И багровый близится июль.

Близится июль и годовщина.
Мир без Бога в сумерках озёрных,

Богом созерцаемый до дна.
К осени, я знаю, опадёт,
соскользнёт платок — пыльца и ряска,

озеро, лежащее в горах,
в лапах,
к осени сожмётся,
станет лёгкой и пустой вода
озера отверстого, и в август
я легко его переплыву.

IV. Смерть

Я в чистом озере нырок,
плыву на солнечном закате
наискосок под ободок
горы на стынущем востоке,

плыву, не замочив волос,
как зверь, плывущий по наитью
к горе — её горбатый лес
врезается лохматой нитью

в ещё живую неба плоть —
до вмятины, но не до крови,
как будто можно переплыть
на неболоб, где шрам над бровью,

и горы, вздёрнуты веслом
тектоники, — темнее сливы
(...вот островок-Авессалом
запутанный, проходит слева..)

— на мокром плоском животе,
несома тремя китами
в освободительной воде.
Вдруг с берега доносит: Mommy,

Look! Look! Животное — смотри! —
who is that animal?! — Ребёнок,
конечно, прав. С тобой внутри
меж водорослевых гребёнок,

и брошенная в воду горсть,
закат, как медные монеты.
Как жаль теперь любой, не здесь,
с тобою прожитой минуты.

Почти погасло... погоди.
Вот напоследок посередке
застыло облачко одно
над отраженьем синей лодки.

Но гладь пустеет. Мошек слёт
сияет у другого края —
тебя уже другая ждёт
душа, собой преображая.

V. Лесной пожар

Вчера леса окрестные горели —
сегодня не горят.
Я выйду на террасу. Первым утром
(чуть не сказала «помнишь?») как впервые
тащили табуретки за порог,
как завтракали на веранде, говорили

(на деке, как тут наши говорят),
как думали, что наташили впрок
лесные дни для счастья и работы.

Закреть окно над мойкой —
там засада
заката, говорящего сквозь пыль.
Там лес один, там не бывает сада.
Там лес, там заросли, там навсегда пропажа,
древесный мусор, лиственной утиль,
объедки, пни и сброшенные шкурки,
хвощи и мох
и папоротников штиль,
тушканчики, древесные каурки
гонцы вестей
и CNN лесных.

Вчера весь день про Принца говорили,
сегодня говорят.
Он был ровесник твой, нет, он чуть-чуть моложе,
но вот вчера он стал ровесник твой.
Why did he die? —
шумят по CNN.
Сгрузив посуду в мойку,
я щурюсь на закат, покоя нет,
но есть у листьев сон.

Смотри же, как я без тебя рулю,
как в Комнату спокойно захожу.
Но с вечера в гортани оседает,
лесной полувоенный дым идёт сюда
и о тебе опять напоминает,
тебя напоминает вся вода.

Как наше озеро в шесть-семь утра сверкает,
и как ужасно время после трёх.
Как медленно и ярко тяжелеет
пронизанный закатом страшный дом —
прочь из него, бегом —
я еду на помойку,
вот развилка —
мы тут тогда чуть не купили дом —
тот, синий, на скале
и жили б в нём,
июль бы миновал,
а ты б остался —
горели б так окрестные леса?

VI. В сумерках I

Я радуюсь, что дерево мертво,
когда тащу его по склону,
утопая.

Вот так когда-то фаусты мои
обрадуются
и повлекут в снегу
в таких же вот жестяных рукавицах
чудные эти петли, заковыки
и путаницу, узелки коры
с единственным за жизнь Земли узором.

И так же молчаливы и бледны,
как эти потрясённые деревья,
меня проводят вниз
поэты-братья:
бук ледяной и тсуга и орех,

берёза, хмелеграб и птичья вишня,
клён сахарный, платан и клён другой —
что долго будет алым
алым.

Когда поволокут меня, слепя
по пням — через овраг,
куски ограды
развилку, столб
и гипсовый фонтан-
поилку на боку,
пустой скворечник и труху и мох,
овраг, труху и мох,

когда уже меня
потащат вниз
на извлечение золотого корня —

в снегу глубоком, пёстром, как борзая,
потянется лохматая траншея —
как ангелы боролись на снегу,

они прощально встанут россыпью на склоне,
глубоком, словно влажный черновик,
не замечая, как их по ногам
мои неловко, как живые,
хлещут ветви
и плети несдающихся корней

VII. Не уезжая

Посматривая в мыльное окошко
на талый склон, пятнистый, как борзая,
мою свою небольшую посуду

и раковина с битым уголком —
единственный источник света в марте

в оставшем по пути на склон, в деревья
с кручёной шаткой лестницей наверх
в остывшем без него
почти фанерном доме,
сварганенном (как нравилось тогда, *под дерево*)
ещё в семидесятых
неведомым строителем-правшой, любителем журнала
Geographic

VIII. На рассвете

Тяжёлая белка шурует в оранжевой жёсткой листве
как на кухне хозяйка Ненужный уже
быт оставшийся после себя
-ы- вот это — дупло
в сердцевине

Как странны как с́ухи слова
тверды и конечны:
быт посуда дело
остаются от жизни — но снова

стопудовый чугун
превращается в мягкую жесьть
твёрдый «быть» превращается в мякоть
«есть»
в ржавеющей жалкой отважной
тварь и утварь шуруют
в опавшей как листья ненужной
жизни опять неразлучны

Редее́т рядно
Звездча́ты проре́хи и дыры
Как быстро светает сквозь них
и теплеет
и в кото́рый уже
цвёта рельсов
 надвигается скорый
 рассвета

Всё равно, всё равно
пусть гремит пусть хозяйственно ранит и режет
Тот, Кто смотрит кино
и никак насмотреться не может

IX. В сумерках 2

Я сегодня не Си́рин, а Сло́ним,
потому что стою во дворе в красных выгоревших сапогах
и огромной ковбойке пасынка
Я сама собрала листодув и стою разбиваю
прошлогодний слежавшийся пласт,

равнодушно слежу,
как вздымается верхний
тяжёлый и слипшийся наст лиственной и веду их
волна за волной, пудовые эти цунами
в овраг за сарай

Это время, когда
много снятся мёртвые
мои, горы, собой
заслонив что осталось от солнца

Зачернеет под вечер одна, и другая, и третья
постоят, наполняясь лиловым, и уходят на запад
как листья в овраг

Х. Домой

Тот кто умер домой не летит в самолёте со мной
он вернётся, но только отдельно летит
как ни в чём не бывало встречает
и дó смерти рад раскрываемым рамам

Это только в пути он под боком
теряет находит очки
с незнакомой деньгой
ковыряется
ковыляет по кромке вдоль стройки
где двоим не пройти
и дивится
и к речи
прислушивается как чужой
и садится на плечи и делит со мной все нелепые
встречи-невстречи

Он со мной на конечной стоит кольцевой
и блуждает и запах
парадных вдыхает родной
обувной и капустный
и терпит
со мной
не торопит
у обитой изодранной двери
с кем я познакомить тебя не успела
кто нас не дождался и вышел

ХІ. Дождь на Пятнадцатой дороге

Водители ведут себя, как дети,
завидев полицейскую машину —
поспешно скорость скидывают и
резиново вытягивают шеи

и жмутся в ряд, толпятся в строй, в затылок
из мешанины, из мешка за толлом,
и так покорны, Господи, как жалко,
все х в линейном уравненье.

[А полицейский фورد в траве, как утка,
сидит себе, высиживает жертву
на разделительной траве лицом к востоку
в блестящем чёрно-белом оперенье].

Вторые сумерки сгущаются
и в гимне
сплошных гудков сплошное Hallelujah
[как ты боялся змей, как сапоги мне
искал охотничьи, последних не жалея —

мы денег, думали, а оказалось дней,
как
врывался в уже запертую лавку,
кричал — мне было стыдно]
— всё, в линейку
встаём, сейчас начнётся давка

у входа [офицера щёки
как холодны и гладки, как спокоен...]

Делавер

1. З а в о д ь

Там, где жизнь окурок тушит,
лучом луг прóшит,
там камыш бергамский дышит,
мураш пашет,

снуют ласточки-стрекозы
— над бухтою птахи,
ходят тростники раскосы
в жухлой рубахе —

осок войско, крепко остью,
смарагды в извести,
а какой бы радостью
тебе эти листья!

Ночь не сплю, а днём ночью,
вью явь без сна,
нависаю над водою —
так, нитка лесная.

Ряски льдины-изумруды,
корма-коряга.
Делавер на юг уводит
свои берега.

И спешит тенями кроны
плавунец пеший,
только шов не заживает —
рана от ветки павшей.

Ткань, прорвавшаяся с краю,
где нежный берег
переменчивого края
тебя сберёг.

Это ряское рябое,
почти болотца,
стало мне дорогое
воды лицо.

Легче самых малых мошек
воды касаюсь,
дымчатую гладь родную
твою ипостась.

Чащ, не знающих урона,
зыбь ли, свет ли,
чтоб не заживала рана
от смертной ветви.

2. К а н т о н и с т ы

То у нас с тобой в породе:
в пётлю из пётли,
а там раз — и на свободе! —
зов ли, свет ли.

Чтобы край — вода и роща —
и лучом про́шит:
вон косу осока точит,
вон мураш пашет.

Эти водоземледельцы,
что всадники, крёпки —

как военнопоселенцы —
мои, твои предки.

Развяжи узлы барвинка,
скинь уздечки
— без осечки, ни кровинки,
ни отсрочки.

Ведь и правда, что не всем же,
не прорвав плёнки,
по той ряске, той яшме
тащить лямку,

пауками-бурлаками
аракчеевой рати!
— По реке, на небо, к маме,
чудеса творить.

3. 21-ое*

Трюм трухляв, корабль-коряга
скован яшмой
топкой ряски изумрудной —
той, летней, вешней.

Оттого ль, что так влекло
во льды, торосы,

* 23 марта 1912 года, на пути с полюса, трое оставшихся участников экспедиции капитана Роберта Скотта разбили лагерь в последний раз. Началась вьюга. Через несколько дней ветер утих, но лейтенант Бауэрс и доктор Уилсон, зная, что Скотт не сможет дойти до следующего склада, уверяли его, что метель ещё не закончилась, и погибли вместе с ним.

в Шеклтоне стекло,
в тиски Росса,

что мне с детства был один
свет: Скотт-кремень —
тканый блёклый, цвета льдин
том с дневниками —

каждый месяц в то число
в полдень, полдня
я пишу тебе письмо,
пускаю с поймы.

К полюсу, минуя плёс,
плывёт мой Роберт.
Но остаётся всё со мной,
что ни кину за борт.

Доведь выйдет в океан —
её флаг прославят,
а капитана моего
спутники не оставят.

Вот она вернулась в мох,
намокшая ткнулась лодка.
...Как остались с ним, как трёх
нашли потом в палатке,

как твердили: капитан,
там ветер,
а что было — свет да гладь
на всём ледяном свете.

Ветвь, что канула горой,
сомкнётся свет в стакане,

ветвь — герой, ибо герой
не тот, кто не канет.

И плывут назад ко мне
в ряске-пепле
всех надгробий, всех камней
герои-стебли.

Где воронка от весла
— там лист и скитался.
Вся вода на юг ушла,
а ты остался.

4. П о й м а

Пёкло, дымный свод-стекло,
плёс, панцирь тряский.
Но увижу далеко
и, как в Nikon, резко

реку, петли все её,
блеск излучин,
плечи рваных берегов,
твои плечи,

тёплый вполнакала лоб
к губам, веки
с вёнками — в речной твой гроб,
сны, протоки.

Как ни стал тот край пустой,
я его не оставлю —

где тебе постелила,
себе постелю.

По́йму, где открыт всему,
укрываем —
я своим тебя пойму
рваным краем.

Сати

1. Август

в оставленном доме скользит
к косяку золотая полоска
и её предзакатный транзит
ножевая
по горлу нарезка

с каждым вечером мёртвым — её
путь недолгий короче
и, сжимаясь, житьё —
безнадёжнее, круче

кто не спал не уснёт
но очнётся и вспомнит
как закат полоснёт
тело сжавшихся комнат

по коленям моим
на боку
к потолку — и на волю
это неумолим
ты идёшь в огневое

2. Сентябрь

Дно кладущий на дно
круглых вод, вечеряющих тайно,
свет озёрный сходил в рядно,
как листва, неслучайно —

в тот единственный путь,
что казалось листвою узорной,
чтоб его не забыть,
погружающий вечер озёрный

Словно третья стопа
меж стволами открылась подробно —
как огромна судьба,
как и после потери огромна

Над вселенной водой,
в ту, что выпадет, бледную гавань
выйдет месяц в одной
из неровных прогалин

Снова кроны сомкнутся кругом
над его папиросной купелью,
над дымком на другом
берегу, над ещё не остывшем кипеньем

золотистой мошки́. Ни одна
ни один до конца не покинут
но, как заводь, до дна
сам в себя опрокинут —

как звезда, посреди
раскрывающих сумерки ставен
Да святится, един,
мир, тобой на мгновенье оставлен

Без имени

Плыви челнок плыви плыви
к туманной речи Дехлеви
где отзываются — зови
где отдыхают от любви

Над безымянною водой
летит сова — иль козодой
И долго длится звук любой
никто не знает — твой не твой

Пыльца суглинок бледный пыл
аплодисменты мятых крыл —
тому, кто на земле побыл
кто камнем канул, имя скрыл

До темноты

Затем что вещи только вспышки
блуждающие огоньки
меняющие имя в спешке
в последних отблесках реки

Ты думаешь: вот корень, камень
плывущий стебель, неделим
пытается освободиться
из тени дерева над ним

Они обманчиво покорны
твоей любви, но погляди —
уже преобразились в корне
их отражения в груди.

Пока ты ногу переносишь
через побоище корней
река, теряющая берег
впадает в облачко над ней

Нам никогда не догадаться
чем эти баржи гружены
и лодки дергают уздечки
в недолгий путь запряжены.

СОДЕРЖАНИЕ

I. На перевал

После снегопада. Отец	8
«Когда человек умирает...»	10
Отвернувшийся	11
Двое	12
Деревья	
1. И потом	13
2. Пустое утро	14
3. Как быстро	15
Утро на Тресковом Краю	17
Стихи дочери	19
На перевал	20

II. За рекой

За рекой	22
Над морем	24
Закат в Ньюарке. Книга	28
Вот новости — на Эхе, на песке.. ..	29
Родина-Ода	30
Иллюзион	32
Возвращение	33
Одно	35
Фильм	36
Москва удаляется	37
Неэйнштейновское	38
Перемена маршрута	39
Облака, облака	
1. «Континент наискосок летя...»	40
2. «В тесном облаке, вот, прямо у щеки...»	40
Земля приближается	42

Лето в родном городе	44
Легко забываешь... ..	45
Каучук	46
Москва у метро. Чужестранец	47
Писать стихи — какой анахронизм.. ..	48
Серебрись, мастерок	49

III. Giornata

Giornata. Облака в окне на закате	52
«Пустыня меж домов...»	54
«Я кузнец моей травинки...»	55
Моим друзьям	56
Рифма	57
Эмигрант	58
Gumporédies	61
Полоса отчуждения на закате	63

IV. Жёлтые точки

Четыре	66
Жёлтые точки	67
Чёрный пляж	69
Зигфрид. Лесная песнь	71
Святая София	72
Открытые окна	73
Комната на Мещанской	
1. в лодке	74
2. экспедиция	74
Миф	75
«Ибо любая вода...»	76
Дымоход	77
Вратарь	79
Ты тоже	80
Эвридика	82

V. В талом свете

В талом свете	84
«Так магнит прилипает к магниту...»	86
Новая любовь	87
К полюсу	
1. ночь 1/2 (Так один за одним...)	88
2. ночь 1/2 (В два шеста уходящий плот..)	89
Солнце в лесу. На пороге	90
Конёк-Горбунук	91
Река Иордань	92
In Absentia	
1. Печь	93
2. Снова январь	95
3. Озеро. Сияние	96
4. Смерть	97
5. Лесной пожар	98
6. В сумерках (1)	100
7. Не уезжая	101
8. На рассвете	102
9. В сумерках (2)	103
10. Домой	104
11. Дождь на Пятнадцатой дороге	105
Делавер	
1. Заводь	107
2. Кантонисты	108
3. 21-ое	109
4. Пойма	111
Сати	
1. Сентябрь	113
2. Август	114
Без имени	115
До темноты	116

Книжный проект журнала В О З Д У Х

Вениамин БЛАЖЕННЫЙ. Моиими очами • Александр СКИДАН. Красное смещение • Гали-Дана ЗИНГЕР. Часть це • Александр ОЖИГАНОВ. Ящеро-речь • Галина ЕРМОШИНА. Круги речи • Сергей МОРЕЙНО. Там где • Полина БАРСКОВА. Бразильские сцены • Андрей СЕН-СЕНЬКОВ. Дырочки сопротивляются • Алексей КУБРИК. Древесного цвета • Виктор ПОЛЕЩУК. Мера личности • Александр БЕЛЯКОВ. Бесследные марши • Валерий НУГАТОВ. Фриланс • Игорь БУЛАТОВСКИЙ. Карантин • Константин КРАВЦОВ. Парастас • Мара МАЛАНОВА. Просторечие • Елена СУНЦОВА. Давай поженимся • Бахыт КЕНЖЕЕВ. Вдали мерцает город Галич • Андрей ТАВРОВ. Самурай • Валерий ЗЕМСКИХ. Хвост змеи • Данила ДАВЫДОВ. Сегодня, нет, вчера • Игорь ЖУКОВ. Язык Пантагрюэля • Егор КИРСАНОВ. Двадцать два несчастья • Фёдор СВАРОВСКИЙ. Все хотят быть роботами • Георгий ГЕННИС. Утро нового дня • Аркадий ШТЫПЕЛЬ. Стихи для голоса • Линор ГОРАЛИК. Подсекай, Петруша • Катя КАПОВИЧ. Свободные миля • Геннадий АЛЕКСЕЕВ. Ангел загадочный • Евгения РИЦ. Город большой. Голова болит • Сергей КРУГЛОВ. Зеркальце • Александр УЛАНОВ. Перемещения + • Янина ВИШНЕВСКАЯ. Начинается уже началось • Василий ЧЕПЕЛЕВ. Любовь «Свердловская» • Владимир АРИСТОВ. Месторождение • Татьяна ЩЕРБИНА. Побег смысла • Елена МИХАЙЛИК. Ни сном, ни облаком • Александр МЕСРОПЯН. Возле войны • Александр МЕЩЕРЯКОВ. Здесь был ледник • Геннадий КАНЕВСКИЙ. Небо для лётчиков • Виталий ЛЕХЦИЕР. Побочные действия • Зинаида БЫКОВА. Тихое государство • Леонид КОСТЮКОВ. Снег на щеке • Борис ХЕРСОНСКИЙ. Мраморный лист • Мария ГАЛИНА. На двух ногах • Николай КОНОНОВ. Пилот • Виктор КРИВУЛИН. Композиции • Илья КУКУЛИН. Бейбевинд • Настя ДЕНИСОВА. Вкл. • Максим БОРОДИН. Свободный стих как ошибочная доктрина западной демократии • Виталий КАЛЬПИДИ. Контрафакт • Алексей ЦВЕТКОВ. Детектор смысла • Дмитрий ГРИГОРЬЕВ. Между играми • Алексей ВЕРНИЦКИЙ. Додержавинец • Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ. Штойто • Петя ПТАХ. БЯТЬЫ • Ирина ШОСТАКОВСКАЯ. Замечательные вещи • Николай БАЙТОВ. Резоны • Владимир КУЧЕРЯВКИН. В открытое окно • Наталия ЧЕРНЫХ. Из писем заложника • Павел ГОЛЬДИН. Чонгулек. Сонеты и песни. Тексты, написанные без ведома автора • Василий ЛОМАКИН. Последующие тексты • Василий БОРОДИН. Цирк «Ветер» • Арсений РОВИНСКИЙ. Ловцы жемчуга • Олег ЮРЬЕВ. О Родине • Пётр РАЗУМОВ. Управление телом • Дарья СУХОВЕЙ. Балтийское море • Андрей ЧЕРКАСОВ. Децентрализованное наблюдение • Станислав БЕЛЬСКИЙ. Птицы существуют • Владимир БОГОМЯКОВ. Стихи в дни Спиридонова поворота • Геннадий АЙГИ. Расположение счастья • Наталия АЗАРОВА. Раззавывание • Артём ВЕРЛЕ. Хворост • Сергей СОЛОВЬЁВ. Любовь. Черновики • Светлана КОПЫЛОВА. Дыхательные жанры • Хельга ОЛЬШВАНГ. Голубое это белое • Олег АСИНОВСКИЙ. На самом последнем маленьком небе

ЗАКАЗ КНИГ ПО ПОЧТЕ

<http://www.vavilon.ru/order/>
